

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СССР. ВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ

СТРАНЫ И НАРОДЫ ВОСТОКА

Под общей редакцией
члена-корреспондента АН СССР
Д. А. ОЛЬДЕРОГГЕ

ВЫПУСК XI

СТРАНЫ И НАРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ,
ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Главная редакция восточной литературы
Москва 1971

Л. З. Эйдлин

К ДЕВЯНОСТОЛЕТИЮ ВЫХОДА В СВЕТ ПЕРВОГО ОЧЕРКА ИСТОРИИ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Очерк истории китайской литературы» Василия Павловича Васильева вышел в свет в 1880 г. как часть «Всеобщей истории литературы, издаваемой В. Ф. Коршем и К. Л. Риккером». Время и личность автора определили направление этой первой в мировой синологической науке истории китайской литературы.

Книга Васильева устарела. Чтение ее в настоящее время имеет смысл для выяснения ее роли в истории развития синологии, и в частности науки о китайской литературе. Всестороннее обозрение такого ученого, как Васильев, возможно лишь при анализе всего комплекса его многочисленных и всегда оригинальных работ, изданных и оставшихся в рукописях. Ограничивая себя в основном «Очерком истории китайской литературы», мы сознательно ограничиваем и видимость: перед нами фигура, не освещенная щедрыми лучами солнца, а внезапно и на мгновение высеченная из тьмы сверкнувшей молнией.

И все-таки раздумья над «Очерком» вне прямой связи с остальными трудами Васильева, а применительно ко взглядам ученого на китайскую литературу тоже полезны. Сам же «Очерк», безусловно, повлиял на дальнейшую судьбу русского китаеведения. Прошло девяносто лет, оказавшихся «магическим кристаллом», сквозь который по-новому уже видится то, что некогда и само себе представлялось резко расходящимся с воззрениями Васильева, а на самом деле даже в тогдашнем протесте своем в определенной мере было порождено также и достижениями выдающегося русского китаиста («гениальным исследователем Дальнего Востока» и «гениальным ученым» называет его В. В. Бартольд) [1, 549, 559].

Васильев приступил к написанию очерка, будучи твердо убежден в высоких достоинствах предмета, которому посвящена работа. Стоит привести самое начало его «Нескольких вступительных соображений». Пусть не покажется наша цитата слишком пространной: ведь и «Очерк» стал уже библиографической редкостью, да и высказывания самого Васильева убедительнее рассуждений по поводу их.

Вот что говорит в присущей ему манере Васильев: «Китайская литература не может быть поставлена наряду с исчезнувшими литературами древнего мира. Она, правда, уступает по силе творческого духа, образцовому и научному изложению литературам греческой и римской; но, имея в виду только то, что от них сохранилось, позволено сказать, что она, конечно, превосходит их и по объему, и по разнообразию захваченных ею предметов. То же самое можно сказать и о сравнении ее с литературами мусульманского мира или всего сред-

невекового периода всех западных европейских народов». И дальше: «Нет сомнения, что в недалекой будущности китайская литература обогатится и освежится в волнах европейской культуры и перенесет в свои недра все изгибы европейской мысли, европейского знания и духа. Но и в таком случае новый период ее жизни не будет, как для других народов, не европейского пошиба разделен глубокой пропастью с ее прошлым, потому что новые взгляды, новые требования будут только продолжением тех сторон, которые или некогда были уже затронуты, но очутились в застое, или разрабатывались неумело по недостатку запроса. Дело в том, что, отвергая даже отдаленную древность китайской литературы, мы имеем перед собой все-таки материалы неутомимой работы многочисленных писателей в продолжение более двух тысяч лет, работы не прекращенной и в новейшее время, но уже обогащающей приливом новых знаний» [2, 1, 2].

Васильев не был историком литературы. И еще долгое время после Васильева в востоковедении не могло быть четко очерченной науки о литературе. Вправе ли мы вместить в одну лишь область истории литературы научные устремления Игнатия Юлиановича Крачковского или Василия Михайловича Алексеева? Может быть, они были историками культуры? Но и здесь мы далеки от категорического утверждения: слишком многое лежало перед ними и требовало ответа от них, чтобы можно было выделить единственно литературу или даже культуру, как ни велико ее значение в жизни и в науке Востока. А ведь этих ученых отделяет от Васильева более чем одно поколение: в 1900 г., когда Васильев умер, для них обоих еще не окончились годы студенчества.

Итак, Васильев меньше всего был историком литературы. Но очерк его о литературе, появившийся на свет в большой мере благодаря счастливому случаю, силою обстоятельств приобрел особое значение также и для самого Васильева. Он сказал об этом сам: «Наш беглый очерк китайской литературы представляется в наших собственных глазах и исповедью и отповедью тем более, что, может быть, это последний наш труд, появляющийся в печати. Мы желали бы сказать и думаем, что могли бы сказать гораздо более, если бы заранее ожидали запроса на наш труд... Теперь пришлось передавать торопливо, что нашлось у нас под руками, прибегать даже к ставшей уже изменять памяти. Но тех, которые никогда ничем не бывают довольны в своей критике, не задумывающейся ни перед какими трудами, мы просим обратиться к написанному здесь нами и пробежать мысленно то огромное море китайской литературы, которого границы мы хоть несколько начертали. Возможно ли единичной силой, закинутой в совершенно несочувственный мир, работать без средств и надежды, что труд не пропадет, не останется в рукописи, которая по смерти автора достанется макулатуре?» [2, 162, 163].

Сравним это с тем, что писал впоследствии В. М. Алексеев в дневниках путешествия по Китаю 1907 г. «Наши вполне самобытные таланты: Иакинф Бичурин, сумевший при скудости средств познания страны дать такое разнообразие ответов на основные вопросы, Палладий Кафаров, В. П. Васильев и его ученики Ивановский и Георгиевский — все эти люди всю жизнь мучились огромными проблемами, не ленились ни минуты, но наша русская действительность сумела загнать их, сломить. Все они были прежде всего настолько бедны, что не могли напечатать свои сочинения на свой счет, а университет находил только крохи средств... Васильев, потеряв всякую надежду напечатать свои многотомные и первоклассные материалы по исследованию буддизма, сложил их у себя в кабинете, а прислуга, без ведома его, употребила

эти длинные листки на растопку печей. Глупая и страшная трагедия!» [3, 287, 288]. В. М. Алексеев мог знать об этих страшных подробностях и от академика С. Ф. Ольденбурга, который молодым студентом видел и читал уже, к сожалению, «жалкие остатки дивного целого» [4, 536].

«Притом нас занимала в жизни не одна только литература...» [2, 163] — добавляет Васильев и ставит многоточие. В словах Васильева, заключающих книгу, словах, мы сказали бы, достаточно трагических, нет ни буквы неправды. И о торопливости, и о вынужденном обращении к памяти (но памяти эрудита), и об огромном море китайской литературы. Правда и в том, что Васильева занимала в жизни не одна только литература, даже меньше всего литература: очерк обнаруживает это обстоятельство, как видим, автором не скрываемое. Но почему же в таком случае должны мы всерьез говорить об «Очерке истории китайской литературы» В. П. Васильева, если и сам автор признает столь ощутительные недостатки в нем, обусловленные самим положением вещей? Потому что очерк Васильева есть первая веха на еще не законченном (а может быть, и до середины не доведенном) пути осознания истории развития китайской литературы и нам важно понять, там ли поставлена эта веха. Еще потому, что мы имеем дело с личностью далеко не ординарной, даже достаточно независимой в суждениях, исходящих из знаний, которые добыты собственным без уловок и хитростей трудом. А это немало не только для времени Васильева, когда синология наша делала если не начальные, то уж во всяком случае близкие к начальным самостоятельные шаги, немало это и для любого (в том числе и нашего) периода любой науки. Нас могут спросить, что означают знания, добытые без уловок и хитростей, и не все ли равно, как добыты они, если они содержатся в памяти. Во времена Васильева у китайца не было даже тех справочников и толковых словарей, какими уже располагал учащийся в надвигающемся двадцатом веке. Синология представляла собою «натуральное хозяйство», в котором трудно было ожидать помощи со стороны. И Васильев знал китайские источники не понаслышке, не по обрывочным записям *сяньшэнов*, у которых он учился в Китае: «Почти ни одно из тех сочинений, о которых я говорю здесь, не миновало моих рук» [2, 4]. Иначе и не могло быть: русская синология только набирала силы, в распоряжении же западноевропейской синологии находилось не так уж много пособий, способных помочь освоению китайского литературного текста. Нужно упомянуть, конечно, прежде всего такую превосходную по своей научной порядочности и молоте книгу, как «Срединное царство» Уильямса, вышедшую в 1848 г. и содержащую также и некоторые сведения о литературе. Были уже «Китайские классики» Легга — труд, о котором Васильев отзывается весьма одобрительно, за год до «Очерка» Васильева только начал издаваться курс китайской литературы на латыни Цоттоли, скорее антология в пяти томах. Ну и, конечно, «Заметки по китайской литературе» Уайли — сокращенное изложение китайского каталога «по четырем разделам». Вот, в общем, и все, что призвано было не дать утонуть в «бездонной пучине», не позволить заблудиться в «дремучем лесу», как характеризовал китайскую литературу даже через пятьдесят лет после Васильева, и не чужестранец, а китаец, и притом китаец с отменным литературным образованием, — Чжэн Чжэнь-до в статье о новом пути исследования китайской литературы.

Следует напомнить, что в двадцатидвухлетнем возрасте, став магистром, Васильев уехал в Китай, где пробыл десять лет. Они оказались годами мучений, но и годами формирования ученого, накопления им, скажем прямо, дотоле невиданных знаний. «Мне привелось

лучшие годы моей жизни провести вдали от отечества, в таких страшных тисках, что если бы не предаваться мечтам о величии и назначении своего отечества, в котором ведь считаешь себя единицей, то не было бы возможности сохранить жизнь» [4, 533]. Под тисками Васильев разумеет деспотическое управление в Пекинской миссии в Китае. Что касается достигнутого Васильевым за эти десять лет и развитого впоследствии, то полностью соответствует действительности свидетельство младшего его современника, А. И. Иванова: «Он был первым европейским ученым, начитанным в китайской литературе и одновременно знавшим языки, как, например, маньчжурский, которые являлись вспомогательными при изучении китайского» [5, 562]. Из «вспомогательных» языков кроме маньчжурского Васильев знал монгольский, тибетский и санскрит.

Васильев не погиб в пучине, не заблудился в лесу. Его не прельстила и легкая слава первооткрывателя: «...китайский язык, как видите, представляет еще обширное неразработанное поприще, в нем можно оказать услугу даже, как говорится, и лапти плетя!» [2, 57]. Творчество Васильева чуждо «плетению лаптей». Васильеву принадлежат три выпуска китайской хрестоматии, им изданы также помимо «Очерка» «Материалы по истории китайской литературы». В 1868 г. он выпустил первое издание примечаний к первому выпуску своей китайской хрестоматии. Именно на них останавливаемся мы, поскольку касаются они и пяти «рассказов о чудесах» Пу Сун-лина. На полях экземпляра издания 1896 г. есть пометки В. М. Алексеева, может быть студенческие, и, кто знает, не явилась ли эта хрестоматия первым толчком к позднейшим алексеевским переводам Ляо Чжая?

А ведь Алексееву казалось, что он весь противоположен Васильеву. Но противоположность эта тоже была порождена тем же Васильевым, и в ней преемственно хранились элементы некоей тождественности. Больше ста пятидесяти лет прошло со дня рождения Васильева, семьдесят-сто лет тому назад написаны были хрестоматии его и «Очерк истории китайской литературы», о которых мы рассуждаем сегодня. Однако же нет между нами и им зияния пустоты: мы сами являем собою звенья непрерывной цепи поколений и через наших учителей живыми воспоминаниями (и запечатленными в книгах мыслями) связаны с теми, жизнь которых для нас далекое прошлое. Поэтому интерес к Васильеву и его работам никак не следует рассматривать как чисто академический: мы — преемники и Васильева, в том, что воспринято, и в том, что оспорено, т. е. во всем том, что теперь уже развито нами и ждет дальнейшего своего восприятия, оспорения и, значит, развития. И Васильев вполне осязаем нами как человек и как ученый, на долю которого выпало сказать одни из первых слов в нашей сложной науке. Так что же было у него для этого? С кем мог он перекликнуться среди необозримого китайского моря? Доставало ли у него духовного и материального богатства? Мы отчасти ответили уже на эти вопросы и словами самого Васильева («Возможно ли единичной силе, закинутой в совершенно несочувственный мир...») и справкой о наличествующих на Западе сочинениях. Духовному же достоянию Васильева посвящена, собственно говоря, вся наша статья.

Достоинства Васильева как ученого слагались и из традиций русской науки и из современного ему состояния синологии. Он вынужден был к самостоятельности, ибо мало кто мог помочь ему свежими наблюдениями. В январе 1860 г. «Северная пчела» поместила статью проф. Васильева «Воспоминания о Пекине». Хотя статью выгодно отличают сведения из китайской истории, она все же довольно поверх-

ността и является свидетельством того, как мало удавалось разглядеть иностранцу в Китае — лишь внешность лежала перед ним, и то заслоненная стенами городов и домов. Подобные же скудные сведения давались в записях еще менее осведомленных современников Васильева, например в вышедшей в 1887 г. в Москве книге И. Ф. Кудина «В чужих краях» о путешествии по Монголии и Китаю. Первое подлинно научное путешествие европейцев по Китаю — экспедиция Шаванна — было осуществлено только в 1907 г. Как писал В. М. Алексеев: «Экспедиция его — это первая организованная по всем требованиям науки китаеведческая экспедиция. И надо думать, что она извлечет наконец путешествия в Китай из жалкой компетенции миссионеров и консулов, положит конец пассивному созерцанию загадок Китая, излитых в столь многочисленных „путешествиях“ (вернее, „блужданиях“) европейцев по Китаю» [3, 124]. Но все же время Васильева (не забудем о заслугах Иакинфа Бичурина) принесло с собою достаточно знаний для того, чтобы иметь приблизительное представление и о скрытом от глаз европейца. Васильев понимал общественное состояние современного ему Китая. Даже только в «Очерке» есть ряд наблюдений, делающих честь уму и сердцу автора.

Эти наблюдения относятся прежде всего к характеру изучаемого Васильевым китайского народа. Автор умеет отделить странную для европейского глаза форму от существа предмета. Он пишет: «Укоряют китайские церемонии в унижении человеческого достоинства (падение ниц, коленопреклонение и пр.), но это просто обычай, удержавшийся от общих всем в древности нравов, а не унижение, как мы не полагаем унижением для себя подписываться покорным слугой» [2, 74]. Интересно увидено и весьма остроумно определено. О том же самом в похожих выражениях (где-то в памяти застряло васильевское) у В. М. Алексеева: «Нас встречает посланный с визитной карточкой, на которой написано: „Ничтожный младший брат Ван Юнь-хань почтительно кланяется“. По китайским обычаям это — просто изысканная вежливость. Русским эквивалентом китайскому „ничтожному человеку“ является „покорнейший слуга“. Пресловутые „китайские церемонии“ и „китайская вежливость“ — результат фельетонного просвещения нашей русской публики. Филологу же ясно, что некоторые слова и выражения выветриваются одинаково у всех народов...» [3, 201, 202].

Но читаем Васильева дальше и тут уже восстаем: «Не забудьте, что нигде нет такой гуманности, как в Китае, нигде в самых демократических странах не возвышается так резко и безнаказанно голос правды, нигде низшие не пользуются такой свободой участвовать в разговорах и делах высшего» [2, 74]. Мы восстаем, но и задумываемся. Откуда такое? Мы и Лу Синя читали, если нужны свидетельства приниженности и бесправия от художественной литературы, авторы которой горько переживают участь соотечественников. Не будем спешить с безоговорочным отрицанием того, что сказано Васильевым, и попытаемся понять ученого, спутавшего роль народа в истории Китая с состоянием его, как говорится, на данный, сопутствующий написанию «Очерка» момент. Не надо бы соединять в одно отсутствие в Китае сословных преград, препятствующих выдвигению достойного человека из народа, с той жизненной практикой, которая все равно не допускала китайца вырваться из «низов» по причинам хотя бы материального порядка. Не надо бы действительные случаи победы идущей снизу правды, что бывало в отдаленности и легендарности китайской истории, возводить в несуществующее правило. Как заметил по другому поводу следующий у нас за Васильевым знаток и мыслитель: «Важно победить в себе обожание

своего предмета» [3, 209]. Тем более, что для Китая Васильев находит не только любезные слова.

Мы могли бы, конечно, представить примеры, околдовавшие Васильева, но стоит ли задерживаться на этом кажущемся нам решенным вопросе, в то время как перед нами случай помимо заблуждения разглядеть здесь и великое одно достоинство ученого, которое мы назвали бы непредвзятостью. Назвали бы непредвзятостью, не делая вид, что нам неизвестны обвинения ученого именно в предвзятости, проявившейся, скажем, в книге 1873 г. «Религии Востока: конфуцианство, буддизм и даосизм», о которой И. П. Минаев писал так: «Прочитав со вниманием новую книгу проф. Васильева, мы пришли к убеждению, что он приступал к своему делу с предвзятыми идеями, именно хотел доказать своим читателям превосходство Запада над Востоком и исконное цивилизаторское влияние первого на последний» [4, 538]. Минаев прав, но о предвзятости он говорит как о нарочитой заданности, как о предубеждениях, вылившихся в известный васильевский разрушительный скептицизм. Но заблуждения Васильева не должны заслонять от нашего глаза органически присущие ему черты рыцаря науки — бескомпромиссную искренность и, повторяем, непредвзятость в более широком смысле, важное для ученого беспристрастие, которым еще напутствовали молодого Васильева, когда он отправлялся из Петербурга в Пекин. Как сообщает Ольденбург: «В инструкции, данной при отправлении Васильеву, мы хотели бы особенно отметить совет хранить беспристрастие, необходимое для научной работы, и не делаться ни „китайским патриотом“, ни китаененавистником» [4, 533].

Под непредвзятостью ученого, как и судьи, мы понимаем стойкость по отношению к образовавшейся под влиянием ряда самых различных обстоятельств общественной атмосфере, которая целиком ли, в частностях ли, но отнюдь не всегда совпадает с открывающейся науке истиной. Понятно, что непредвзятость есть категория не только научная, но и моральная. Так, среди официального пренебрежительного отношения к «недвижному Китаю», среди обывательского равнодушия и мрачной экзотической легенды, выкристаллизовавшейся позднее, в 1899 г., в изданный через некоторое время и на русском языке «Сад пыток» Мирбо, в такой-то вот атмосфере позиция ученого требовала и мужества и большой убежденности в добываемой собственным трудом правоте. Добавим, что неумеренные слова Васильева могли быть восприняты как нарочитый укор неравенству в царской России. А ведь Васильев был один или почти один просто по роду редкой своей специальности, один, закинутый «в совершенно несочувственный мир». Не согласившись с непререкаемостью и безусловным внеисторизмом процитированного нами утверждения Васильева, противопоставившего легенде мрачной легенду идиллическую, задумаемся над той стороной его утверждения, которую мы назвали непредвзятостью и без которой нет и не может быть ученого вообще, а поскольку речь идет о нашем предшественнике в синологии, подумаем над тем, сколь необходима она ученому-китаисту.

Непредвзятость Васильева заметна в «попутных» его замечаниях, которые свидетельствуют о действительном понимании ученым общественного состояния современного ему Китая. Васильев видит, что «в Китае аристократия не имеет значения», но он из этого не делает вывода о единстве китайского населения, а сетует на то, что, живя среди народа, интеллигенция оторвана от него. Он говорит об этом в связи с официально подчеркнутым пренебрежением в Китае к драме и роману. «Китайский ученый с трудом сознается даже, что он читал известные

драмы или романы, хотя и наверно читал, потому что нельзя же, живя среди народа (в Китае аристократия не имеет значения), не сочувствовать тому, что его интересует. Только классический педантизм развивает подобное выделение интеллигенции из народа, несочувствие к его радостям и горю... Между тем правительство поддерживает такое разединение: чиновник, появившийся в народном театре, подвергается преследованию закона даже более, чем в доме проституции» [2, 156].

Посильное (насколько это было возможно для европейца-немиссионера) знание Васильевым китайской народной жизни видно и в его суждениях об одном из главных элементов китайского быта — театре. Огорчаясь тем, что «народная литература остается без поддержки, без улучшения», Васильев продолжает: «А народ между тем с жадностью посещает театры; почти каждая сколько-нибудь значительная деревня приглашает хотя раз в году труппу...» [2, 156]. Вспомним рассказ Лу Синя «Деревенское представление» — и не надо лучшего подтверждения слов Васильева и лучшей иллюстрации к ним.

Поскольку мы обязаны говорить и о том, что в «Очерке» не относится непосредственно к литературе, стоит отметить взгляд Васильева на термин *цзюньцзы*, который автор «Очерка» правильно трактует как «тот идеал, какой стремится образовать конфуцианство» [2, 75]. Прошло едва не целое столетие, а мы все еще нет-нет да встречаемся с вульгаризаторской практикой понимания *цзюньцзы* (совершенного, достигшего высоконравственного уровня человека) как личности, находящейся на сословной вершине в обществе.

Но вернемся к главной цели наших наблюдений — к тому, как распорядился Васильев предоставленной ему возможностью оценить китайскую литературу в истории ее развития. Будь даже Васильев китайцем, всецело сосредоточившим свои интересы на исследовании литературы (от чего он, как мы знаем, и сам отрекается), он и в этом случае не смог бы написать историю китайской литературы, вследствие неизученности последней. Он и изложил китайскую литературу и в «Очерке» и в «Материалах по истории китайской литературы», не слишком уходя от старой традиции, включавшей в литературу каждое писаное слово, благо писалось оно всегда тщательно и по определенным установлениям. Васильев, как правило, пользуется китайскими материалами и, несмотря на свое критическое к ним отношение, руководствуется ими. Это принципиальная позиция: «Сведения об этих поэтах и их стихах можно найти в изданиях европейских ученых, но мы уже сказали, что не намерены приводить здесь выписки и ссылаться на других» [2, 154]. Здесь и свидетельство того, что другими сделано слишком уж мало, и уверенность в том, что доверять этим другим тоже следует с осторожностью. Может быть. Но здесь, к сожалению, и искусственное обречение себя на одиночество не только в своей стране, но и во всем мире, здесь и сознательное отстранение от пусть и не-многого, но уже сделанного «другими».

Из ста шестидесяти трех страниц «Очерка» главы «Изящная словесность китайцев» и «Народная литература. Драма, повесть и роман» занимают всего тринадцать. Зато много внимания уделено не входящему по китайской традиции в «изящную словесность» «Шицзину» — «Книге песен». Скажем о главном — Васильев рассматривает «Шицзин» как народное песенное творчество, освобождая стихи от нагромождения затемняющих смысл примечаний. Васильев находит, что «Шицзин» интересен «с чисто общечеловеческой стороны» [2, 33]. «Имеется ли мы для такого отдаленного периода, хотя бы принять и век Конфуция, у какого-нибудь другого народа такое живое и ясное выраже-

ние обыденных чувств, всего того, что занимало народ, эту так называемую сермяжную братню, в ее обыденной жизни?» [2, 33]. Васильев резко возражает против подчинения традиционному китайскому комментарию и извлекает из него для себя лишь ту часть, которая способствует правильному пониманию народности «Шицзина»: «Благоговеющие перед китайской эрудицией, уверенные, что, кроме китайских толкований, ничего не остается обдумывать, конечно, с изумлением встретят нашу смелую попытку рассматривать по-своему „Шицзин“. Мы думаем, что здравый смысл нигде не мешает; но, кроме того, мы сошлемся в этом случае на самих китайских комментаторов» [2, 55].

Да не покажется излишней самонадеянностью со стороны Васильева название им своей попытки смелой. Сложность китайской культуры, трудность старого китайского текста породили не только традиционное китайское сомнение в возможности для иностранца овладеть этим текстом и проникнуть в эту культуру, но и парализовали волю не одного западного ученого, не сумевшего преодолеть чувства безусловно-го доверия к китайскому комментатору. Нужна очень твердая выучка, чтобы чувствовать уверенность в своем понимании зыбкого на первый взгляд текста и подавить сковывающий страх перед могущей оказаться непростительной ошибкой. В. М. Алексеев показал пример успешного единоборства с китайским комментатором в изданной в 1916 г. «Китайской поэме о поэте». Движение нашей науки, все большее число монографических исследований, посвященных авторам и эпохам, снимают и призваны окончательно снять преграду между ученым-китаистом и предметом его изучения. Но она еще не исчезла.

Анализируя стихи «Шицзина», Васильев полагает, что взгляд его «совершенно нов» [2, 33], и мы думаем, что так оно и есть: Васильев, действительно, «один из первых, если не первый европейский ученый относится с серьезной критикой к китайским источникам и текстам» [5, 563]. Во всех отмеченных нами заявлениях Васильева нет нескромности: в них ясное осознание очередной ступени, на которую он поднимается в науке, потому что он знает и о том, как преходящи любые достижения, в их числе и новая его «метода»: «Если в ней откроются какие недостатки или пропуски, то все же пусть останутся на выставленных нами воззрениях, пусть разобьют их в пух и прах: тем тверже будет почва дальнейших исследователей, и это уж будет заслуга с нашей стороны» [2, 57]. Так выказывает он себя ученым, прежде всего заботящимся не о личном прославлении, а о судьбе своей науки.

Отдавая должное заслугам Васильева в установлении правильного взгляда на «Шицзин» как на вершину древнего поэтического творчества китайского народа, приведем в заключение наиболее характерные места, посвященные «Шицзину» в «Примечаниях на третий выпуск китайской хрестоматии» и в «Очерке». «Мы думаем, что не будет никакого кощунства, если в составителях Шицзина мы не будем видеть, подобно китайцам, святых людей, а простых смертных. Песни составлялись народом, и нам приятнее в них встретиться с людьми, а не с замаскированными ханжами; нам интереснее узнать, что и в китайцах было некогда простое, родное к нам, человеческое сердце — те же чувства, те же страдания и радости, что и у нас» [6, X]. Или: «Ведь мы имеем здесь песни, которые, сохраняя местный гений, гений китайского народа, в то же время свидетельствуют, что и китайцы некогда ходили на прочих людей своими страстями и слабостями, что они были откровеннее, пока милые учителя не научили их из их же собственных песен сделаться ипокритами. Мы видим тут и песни любовные, песни девицы, желающей выйти замуж, песни любовника, очарованно-

го своей милой, назначение свидания, жалобы покинутой жены, еще более жалобы разлученных супругов, любовников, родственников» [2, 32]. Из всего высказанного Васильев делает и более широкий вывод: «Нельзя не обратить при этом внимания, что в таких жалобах отзываются общественные и политические обстоятельства» [2, 33].

К сожалению, эстетическая глухота Васильева помешала представить русской читающей публике последней четверти XIX столетия «Шицзин» в блеске всех его достоинств, весьма убедительно провозглашенных ученым, но, увы, не подкрепленных доказательствами высокой поэтичности памятника. Можно бы еще с улыбкой, как некое чудачество воспринять вкрапленные в текст неожиданные сопоставления с русскими песнями — «Раиса, бедная Раиса!» [2, 35] или «Не учить ли ты, Ванюша, как ко мне ходить?» [2, 40], — но в состоянии ли был читатель, воспитанный на отечественной народной поэзии и на лучших образцах поэзии своего века, поверить по меньшей мере в осмысленность такого «стихотворения» (даже взяв во внимание, что переводчику «некогда было в корректуре поправлять слог», как замечает Васильев во введении к «Примечаниям на третий выпуск китайской хрестоматии» [6, XI]):

Волк то наткнется на зоб,
То зацепит хвостом;
Князев внук большебрюхой
В красных туфлях самодоволен!
...Слава без ущербу [2, 40].

Если допустить, что мною выбран самый невразумительный пример, то, право же, не намного лучше другое стихотворение, в котором как будто угадывается спрятанная поэзия:

Есть девица, возбужденная весной,
Счастливцев заманивает —
...Тише, помедли,
Не тронь моего платья,
Не заставь собаку лаять! [2, 40]

Говоря, что русской читающей публике «Шицзин» не был представлен в блеске его несомненной поэзии, мы чуть отступаем от точности: в начале шестидесятых годов было напечатано одно стихотворение М. Михайлова «Из Шикинга»:

Мой хороший, мой пригожий
Носит смушковый кафтан;
Опоясан стройный стан
Барсовою кожей...

Оно приведено полностью (впервые в наше время) в принадлежащей автору настоящей статьи книге «О китайской литературе наших дней» [7, 48]. Но ко времени издания «Очерка» Васильева стихотворение это «Из Шикинга» кем могло быть сопоставлено с подстрочными, как мы бы сейчас их назвали, переводами Васильева из «Шицзина»?

Кроме «Шицзина» уже в главе «Изящная словесность китайцев», давая дотоле русскому читателю неизвестные сведения о китайской поэзии и указывая на роль поэзии в жизни китайского общества, Васильев останавливается лишь на одном стихотворении. Обстоятельства обращения Васильева к этому стихотворению для меня представляются некоторой загадкой. Прежде всего дело в том, что оно было опубликовано в переводе Фета без указания имени автора (и так всегда пере-

печатывалось в собраниях сочинений поэта) под названием «Тень» в шестой книжке «Отечественных записок» за 1856 год. Звучит фетовский перевод так:

Башня лежит,
Все уступы сочтешь.
Только ту башню
Ничем не сметешь.
Солнце ее
Не успеет угнать, —
Смотришь, луна
Положила опять.

Фет, в своих переводах обычно обозначавший имя автора, ограничился припиской «с китайского китаец», и это заставляет предположить, что русский поэт не знал, какого китаец он переводит. Впервые с именем китайского автора перевод Фета опубликован в изданном в 1968 г. в большой серии «Библиотеки поэта» двухтомнике «Мастера русского стихотворного перевода» [8, 485] после моего отождествления перевода с четверостишием сунского поэта Су Ши «Тень от цветов» [13, 116].

И вот здесь-то и начинаются странности. Васильев, обнаруживая поверхностность в рассуждениях о китайской поэзии, по-видимому мало его привлекавшей, пишет, что, «удовлетворяя правильности стихосложения, пьеса, разумеется, должна также отличаться и мыслию, представлять какой-нибудь новый, нетривиальный взгляд на избранный предмет» [2, 152]. Все это верно, если не считать присутствующего здесь оттенка нарочитости поэзии, невольного представления о ней не как о результате творческих усилий, а как чуть ли не об упражнении, что усиливается в следующей фразе: «Задают нарочно написать на какой-нибудь самый незначительный предмет, для того, чтоб показать умение представить и его в новом свете. Поэт пишет на слово *тень...*» [2, 152]. Тут Васильев приводит свой перевод стихотворения, написанного на слово «тень»:

Этажами друг на друге [расстилает предо мною свою тень]
эта высокая башня,
Но дотрагиваешься и не можешь смести ее,
И только что солнце [с заходом] уберет ее —
Смотришь: светлая луна уже снова послала! [2, 152]

Это ничего не значит, что стихотворение Фета опубликовано в 1856 г., а Васильев обращается к тому же стихотворению в 1880 г.: Васильев мог быть знаком с Фетом, как он знал Стасова (упомянутая в «Очерке» об издании в Китае альбомов с рисунками древней резьбы, Васильев сообщает, что он обратил «на это издание внимание г. Стасова, который в последнее время исключительно занимается сличением рисунков Востока и Запада» [2, 145]), как он дружил с Мельниковым-Печерским (по свидетельству его сына, А. В. Васильева, профессора математики в Казанском университете [9]), перу которого принадлежит статья о Васильеве «Первый магистр монгольской словесности» [10]. И Фет мог задолго до выхода «Очерка» знать от Васильева об этом стихотворении. Странность здесь в другом. Почему у Васильева нет имени автора? Почему Васильев говорит о тени, а не о тени от цветов (*хуа ин*)? Может ли быть так, что он не видел китайского текста? Это он-то («почти ни одно из тех сочинений, о которых я говорю здесь, не миновало моих рук») [2, 4]? Но ведь *почти* ни одно! Почему ни у Васильева, ни у Фета не сказано, что башня яшмовая (так у Су Ши!)? Почему и у Васильева и у Фета опущена такая деталь, как приказание

мальчику-слуге смести башню? И почему и у Васильева и у Фета в заключении слово «смотришь», которого нет у Су Ши? Мне могут сказать, что не так уж все это важно. И я отвечаю, что в минувшем важно все: любая деталь служит к приподнятию завесы, отделяющей от нас прошлое, и кто знает, какое открытие личных и общественных отношений, причин вдохновения и отчаяния, подъема и упадка может повлечь за собою обнаруженный нами и кажущийся поначалу незначительным мелкий факт. Так и здесь. В поисках европейских истоков я обнаружил четверостишие «Тень от цветов» у Цоттоли [11, 566, 567] (но это 1882 год!), и, может быть, оно ускользнуло от меня в каком-нибудь из немногих западных изданий сороковых-пятидесятых годов прошлого века.

Драмой, повестью и романом завершается «наш беглый очерк». Трудно, в общем, спорить с тем немногим, что высказано Васильевым по этому поводу. Нет еще проникновения в глубины (да есть ли оно уже в достаточной степени, как сказал бы Васильев, «хотя бы для нашего времени?»), но существенно знание трактуемого предмета и поразительны некоторые мысли, высказанные в науке впервые. Так, например, Васильев задолго до Чжэн Чжэнь-до, да и до Джайлса, узрел индийское влияние в китайской драме. Больше того, он ощущает веяние западного ветра и в повести, а может быть, и в романе, который «тоже отдаленно родствен или одолжен своим происхождением внешнему импульсу» [2, 157].

Все, о чем говорится, прочитано. Как привлекательна эта черта: добропорядочности, даже если переходит она иной раз в чрезмерный педантизм, сужающий кругозор исследователя. Но и педантизм не мешает Васильеву, как подобает подлинному ученому, из суммы наблюдаемых частных выводить важные обобщения, касающиеся национальных черт народа. Что-то приходит в жизнь и в литературу извне, но подавляет оно, поглощает исконно национальное или, наоборот, растворяется в последнем — такой вопрос немедленно встает перед Васильевым, и он готов к нему не только чтением драмы или романа, но всей массой воспринятых им знаний о Китае. Только доверие (подтвержденное известными уже нам более поздними изысканиями синологов) вызывает утверждение Васильева, что «как в драме, так и романе китайцы не были простыми подражателями; в нации по сию пору не погиб дух самостоятельности; на все чуждое и пришлое она смотрит своими глазами, все перерабатывает по-своему — вот почему сюжет драм и романа является в китайском духе, выражает китайское мирозерцание» [2, 157, 158]. Прозрения Васильева позволяют нам не придавать серьезного значения не раз встречающимся и стоящим ниже уровня его науки странным идеям, вроде той, что название письмен *кэдоу* есть транскрипция слова «копты» и означает «Египет» [2, 15], пусть даже «самый вопрос о подразумевании под кэ-доу Египта выставляется здесь только с целью обратить на это внимание» [2, 15]. Как говорит Бартольд, у Васильева «необходимо отличать широту и глубину основных идей от парадоксов, противоречий и даже отсталых взглядов в частности» [1, 559].

Васильев дает общий взгляд на драму и на прозаические произведения, имея в виду только их содержание: о большем он говорить пока не в состоянии. Наряду с наивными, но и верными описаниями (о Ляо Чжае: «Но главное: этот оборотень — кто бы вы думали? — наша куроворовка лиса; так из эзоповых басен она повысилась в ранге на востоке, и по заслугам! Она ведь живет в легендах мира так давно» [2, 159]), наряду с этими замечаниями, в более тонкой форме повторенны-

ми и развитыми В. М. Алексеевым в его предисловии к «Лисьим чарам», у Васильева есть суждения весьма пронизательные («Но если вы хотите познакомиться с китайской жизнью, до сих пор для нас замкнутою в высших сферах, то только и можете получить сведения из романа...» [2, 160]). Васильев пересказывает впервые для русского читателя «Историю западного флигеля», «Сон в красном тереме», «Цзинь, Пин, Мэй», эмоционально отмечая художественную сторону «Сна в красном тереме» («...такие сцены нелегко изглаживаются из памяти» [2, 160]). Привыкнув к здравому смыслу Васильева, мы немного разочаровываемся отсутствием в «Очерке» понимания бытового романа «Цзинь, Пин, Мэй», но будем все же утешены, обратившись к «Материалам по истории китайской литературы», где в «Каталоге книг» обнаружим описание «Цзинь, Пин, Мэй» как «романа, отличающегося изображением разврата нравов, но вместе с тем очень хорошо знакомящего с китайской жизнью» [12, 371].

Последнее замечание характерно для отношения Васильева к китайскому роману как в большой степени этнографическому подспорью. У него не могло быть, так сказать, литературоведческой оценки китайского романа в поневолу единичных наблюдениях, которые были ему доступны, и роман, как и следовало ожидать, привлек его к себе раскрытием внутренних тайн жизни китайского общества. Вот почему: «Вообще нам кажется, что действительную жизнь и настоящий взгляд на нее китайцев можно узнать не по собственным наблюдениям — до этого еще далеко, потому что европейцу невозможно заглянуть во все ее уголки, — не по конфуцианским книгам, которые развешивают жизнь человека по часам и дням. Только роман, даже не драма, потому что она не может дать тех же подробностей, знакомит нас вполне с этой жизнью. Из этой презираемой китайцами литературы мы можем смело внести выписки в свои учебники (разумеется, будущие) о Китае» [2, 162].

«Разумеется, будущие». Может ли не тронуть нас, волею судеб оказавшихся в том самом будущем, постоянная эта забота Васильева о будущем, с которой ведь и начинается «Очерк истории китайской литературы». «Со временем, наверно, появится и не один такой труд; исследование китайской литературы займет впоследствии не одного ученого; их потребуются сотни. Придет время, когда и русские синологи примут участие в этой деятельности, невозможное теперь, при отсутствии в обширной России китайского шрифта, которым обзавелись уже все другие европейские государства» [2, 2]. Что можем мы ответить, кроме того, что замечательный наш предшественник придавал слишком большое значение наличию так недостающего нам и поныне китайского шрифта, если мы хотим все-таки настоять на небезразличном участии нашем в исследовании китайской литературы. И вряд ли найдется недоброжелатель, который решится поставить под сомнение удачи советских сиологов-литературоведов. Мы же знаем, что китайский шрифт нам все еще очень нужен. Мы думаем о существующей в синологии большой еще нужде в переводе и исследовании творчества многих писателей разных времен, без чего нам не осмыслить весь ход движения китайской литературы. А для таких работ нам нужен, согласимся с Васильевым, китайский шрифт. За девяносто лет, что прошли со времени сетования Васильева, мы продвинулись далеко вперед, но до сих пор, к сожалению, сохранили право на надежду о китайском шрифте для ближайших наших потомков. Кто знает, может быть, достаточное количество китайского шрифта даже сыграет свою стимулирующую роль в усилении вкуса к необходимым требовательной нашей науке конкретным исследованиям!

Васильев писал свой «Очерк» в отчаянии и надежде. В отчаянии по поводу одиночества, на которое он был обречен всем строем Российской империи, в надежде на то, что его наука дождется лучших времен. «Наверно, изучение востока не прекратится же у нас совершенно, хотя им теперь и пренебрегают; будут продолжатели моих трудов, им легче будет, принимая в соображение мои указания, развивать, обрабатывать и поверять сказанное мной» [2, 25]. Васильев и представить себе не мог тот размах, какой приняло у нас изучение Востока. Но и то, что казалось более легким Васильеву, стало намного труднее. Во времена Васильева легче было совершать открытия, о чем он и сам знал прекраснейшим образом (помните: «обширное неразработанное поприще, в нем можно оказать услугу даже, как говорится, и лапти плетя!»), и намного труднее было подготовить себя к совершению этих открытий. Трудолюбие и талант Васильева помогли ему в приобретении огромных его знаний. Широчайшие и глубокие познания следующего за Васильевым нашего китаиста В. М. Алексеева слагались уже иным путем — при сравнительной статичности китайской науки конца девятнадцатого — самого начала двадцатого столетия синология вне Китая (а в ней и труды Васильева) не стояла на месте, и вклад ее в образование ученого был существенным. Поколения же, отсчитываемые от Алексеева, пользуются также немалыми достижениями собственно китайской науки, весьма облегчающей усвоение богатств, накопленных китайской культурой.

Да, нам уже легче осмотреться в «золотой кладовой», как и предсказывал Васильев, у нас даже появляются иллюзии полноты представления об изучаемом нами предмете — в одном лишь Китае за шестьдесят лет от изданной в 1904 г. «Истории китайской литературы» Линь Чуань-цзя до самой последней по времени работы Ю Го-эня, Ван Ци и других вышли в свет десятки книг по истории китайской литературы. Но лучше не обольщаться: мы (я имею в виду мировую синологию) все еще бедны сочинениями, посвященными авторам и периодам. И если в наше время труднее совершать открытия, то не потому, что они уже произведены, а главным образом вследствие того, что требуется другой род открытий, не просто удивляющих, не первых (хотя не везде мы можем похвалиться даже укомплектованностью этих первых), а вторых и третьих, все более и более трудных и все более и более необходимых для прояснения периодов истории китайской литературы. Это к вопросу о легкости и трудности, а также к вопросу о трезвом, реалистическом взгляде на нашу науку.

А наша наука имеет свою особенность, даже при сравнении с подобными ей. Особенности, о которой мы говорили выше и которая заключается в сложности накопления знаний, в едва ли не невозможности охвата великой и количественно китайской культуры. Не примите всерьез, но восставший из гроба несравненный Ньютон вызвал бы лишь почтительно-сочувственную симпатию физиков, воскресший же Васильев заставил бы нас и сейчас склонить голову перед его знаниями и не раз обратиться к нему, как говорят китайцы, «за поучением».

Не занимаясь специально историей китайской литературы, Васильев согласился подготовить «Очерк» тоже благодаря своим выдающимся познаниям в духовной жизни Китая, а значит, пониманию роли литературы в китайском обществе. Он и пишет: «Китайцы почитают изящную литературу, может быть, гораздо более, чем мы; в ней они видят верх человеческого усовершенствования, выражение не только интеллектуального объема человека, но и как бы всей его моральной

стороны» [2, 150]. Васильев признавался, что может «говорить об этом предмете только поверхностно» [2, 150], но его «поверхностность» была функцией от его времени, результатом вынужденной необходимости одним из первых говорить обо всем. «Поверхностность» этого рода только напоминает о запрете нам быть поверхностными. Как прямо (позволим себе еще одну, последнюю цитату) сказано об этом самим Васильевым: «Для изучения изящной литературы китайцев так, как у нас понимают это изучение, надо исключительно посвятить ей всю свою жизнь, чтобы представить полный и отчетливый обзор ее в общем виде, и все-таки предоставить еще будущим поколениям дальнейшую разработку. Конечно, легко сказать: не стоит, но тяжело добиться, чтоб иметь действительно право сказать — не стоит: нужно наперед все прочитать, во все вникнуть, и тогда наш приговор будет честен» [2, 150].

Честный приговор вынесен даже этой столь несовершенной книгой Васильева. Стоит, очень даже стоит, ибо без изучения китайской литературы не может быть исследования истории китайского общества. Взгляд же на тех, кто был до нас и кто пролагал нам путь, предоставляет нам возможность не только воздать должное им, но и понять все то, что произошло во времени, и оценить по достоинству происшедшее, а в данном случае увидеть, как наука о китайской литературе в нашей стране от отдельных, даже замечательных, даже самых мудрых и глубоких наблюдений пришла — нет, не пришла, а приходит (сколько еще предстоит нам сделать!) — к по возможности стройной системе взглядов на взаимоотношения общественных и литературных процессов, приходит к ясному пониманию и того, что еще не совершено и надлежит совершить. Но и эта, как будто уже и другая тема тоже связана с трудами Васильева, а затем и следующих за ним учителей наших и соратников.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. В. Бартольд, Исторические и географические труды Василия Павловича Васильева, — «Известия Российской Академии Наук. 1918».
2. В. П. Васильев, Очерк истории китагской литературы, СПб., 1880.
3. В. М. Алексеев, В старом Китае, М., 1958.
4. С. Ф. Ольденбург, Памяти Василия Павловича Васильева и о его трудах по буддизму, — «Известия Российской Академии Наук. 1918».
5. А. И. Иванов, Василий Павлович Васильев, как синолог, — «Известия Российской Академии Наук. 1918».
6. Примечания на третий выпуск китайской хрестоматии профессора Васильева, СПб., 1882.
7. Л. Эйдлин, О китайской литературе наших дней, М., 1955.
8. Мастера русского стихотворного перевода, М., 1968.
9. С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь, СПб., 1895.
10. П. И. Мельников (Андрей Печерский), Первый магистр монгольской словесности, — «Отечественные записки», 1840, № 3.
11. Zottoli, Cursus Litteraturae Sinicae, vol. 5, Chang-hai, 1882.
12. Материалы по истории китайской литературы. Лекции, читанные заслуженным профессором С.-Петербургского Императорского Университета В. П. Васильевым, СПб., [б. г.].
13. Л. З. Эйдлин, Заметки о переводе иероглифической поэзии на русский язык, — НАА, 1967, № 1.